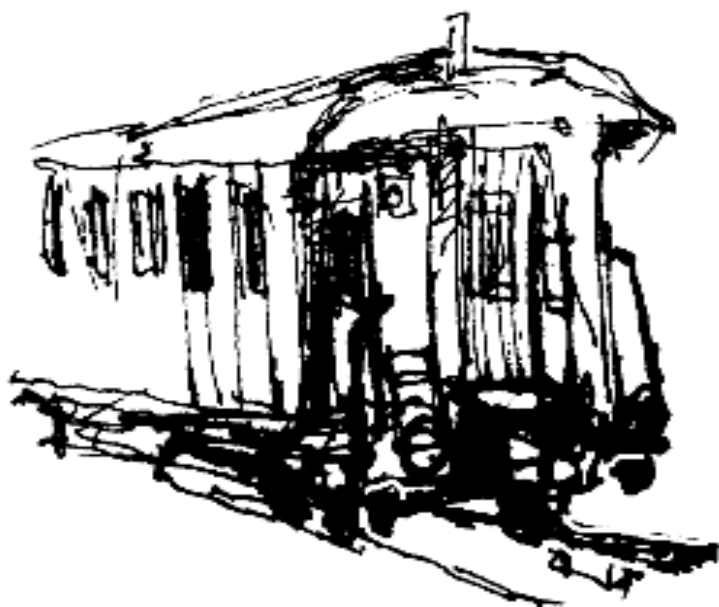


ч а с т ь

ВАГОН



Хотелось, ни о чём не думая, уехать в сон на этом старом окутанном клубами дыма паровозе. Я стоял на его подножке и никак не мог решиться на последний шаг. Не отпускало неведомо откуда возникшее начало стихотворения (оценка ещё не уснувшего наблюдателя): «Уехать в сон на старом паровозе...»

И я завис на тонкой грани грёз:..... либо всё-таки отключить контроль над сознанием и полностью отдаться во власть этой столь сладостно-манящей поездки, либо возвратиться в мир своих полуночных реалий и дописать зарождающиеся стихи? Проблема выбора! Чем не сюжет для небольшого текста?

Из двух возможностей предпочтенье отдаётся третьей.

1. Вирус Велеса.

Падежи коньяка. О языке. О язычестве. О похмельной жажде. Впервые о дедушке. Об организме и душе. О незнании. О Божественном компьютере. О проводнике. О ночи. Кривые песни. Как обрести совершенство.

Он всё не мог понять, отчего ему так плохо? Коньяка или коньяку? Возможно, и коньяку, но тогда какой падеж? **И если у этого чёртова слова есть два родительных падежа**, о которых знают немногие, то на них ведь отпущен ещё и один губительный (правда, не падеж, а падёж), о котором известно лишь избранным, до конца упавшим, но сохранившим эти точки над «ё».

А может статься, что это был вовсе и не кОньяк, а кАньяк!? И это, разумеется, уже совсем, совсем другое. **Склоняя сей напиток не по окончанию**, а по основе, мы вместо того, чтобы уноситься в неведомые ветреные дали, подобно южному горячему коню, вдруг канем в черноту небытия, в великие пустоты подсознания.

Странно это — язык.

Язык — мой дом. А я язычник. Я поклоняюсь языку. Я приношу ему в жертву себя. И, боже мой, как сладка эта жертва. Я молюсь. И молитвы свои называю стихами. И пусть они наивны и восторженны. Пусть кто-то ухмыляется и смеётся над ними... Это не страшно. Это даже хорошо. Мой Бог любит смех. Впрочем, он любит и слёзы. Не выносит лишь равнодушия — от него ему становится душно.

И предпочту коньяк всем другим напиткам за его дополнительные падежи..., впрочем, и чай, и квас... И кофе — за его исключительность, и вино — за грамматическую омонимичность с виной, за участие в **винословных союзах** и в винительном падеже..., и пиво — за смешное множественное число, и Портвейн — за этимологию, и сухое — за смысловой нонсенс, и Шампанское — за красивую фонетику, и... О Господи, к чёрту патетическую философию! Какие аргументы могут сравниться с похмельной жаждой? Мой дедушка, по семейной легенде, как-то, будучи сражённый зверской квасной язёй, или, говоря по-нашему, пережором, выкушал по ошибке целый штоф керосину и... узнал об этом лишь вечером, когда стал заправлять летучую мышь самогонкой.

Но, однако, он или оглох, или кто-то выключил звук? И почему качает, и почему так узко и жёстко? И этот стук? Если это сердце, тогда где же руки? Или это пульсаж желудка? Впрочем, кажется, нет такого слова — «пульсаж». Хотя смысл от этого не меняется — ибо всё равно невозможно распрямиться, иначе из него что-то прольётся.

Странно это — организм.

Как он вообще с душой? Если он с будуна, то и она? А если она, тогда что же он? Вот сейчас ему вроде бы плохо. Так плохо, что даже нельзя распрямиться, а в душе — покой и

смех. По сути, это ведь очень смешно, когда нельзя распрямиться из-за боязни, что прольёшься...

Похоже на то, что он едет. Не в том смысле, что крыша едет, а в том, что удаляется в неизвестном направлении, лежа и не разгибаясь. Поэтому и узко, и жёстко, и стук... — всё это, конечно, как говорится, пустяки, дело вагонное, **куда бы ни ехать, лишь бы не в Ригу.**

Дело-то, конечно, вагонное, но тело-то как раз своё, и оно-то как раз и отказывается разгибаться, как будто крюк от подъёмного крана проглотил. Впрочем, не так уж это и важно, прямизна, гораздо важнее знание. То есть наоборот, незнание того: где я, и куда я еду?

Странно это — незнание.

Что мы вообще-то знаем? Микроб, живущий во мне, полагает, что движется из желудка в кишечник. И ему нет дела до моей искривлённости и до моих траекторий движения. Конечно, есть и вполне начитанные микробы, знающие о вращении Земли, о движении Солнечной системы к апексу, о расширении вселенной... Но если Вся вселенная — это какой-нибудь компьютер на столе у Господа... А человечество — это вовсе не цель, а компьютерный вирус, сочинённый каким-нибудь языческим Велесом? (Завёлся, понимаешь, и испортил всю Божественную программу.) А Иисус не что иное, как антивирусный доктор. Нет, Иисус, пожалуй, тоже вирус. А вот ядерная бомба — это как раз то, что надо. Эта, пожалуй, быстренько вылечит. Или лучше нейтронная — всё на месте, а вируса как не бывало.

А впрочем, даже если ты всего-навсего вирус, неплохо бы тебе научиться разгибаться и определить траекторию перелёта. Оно, пожалуй, можно и у проводника спросить. Но у проводника можно чаю и нельзя траекторию.

Странно это — проводник.

Он проводит меня сквозь пространство, словно я электрический ток. Вот куда завело меня пьянство. Я лежу и куда-то протёк... Стихи, бя.

Чая — это пожалуй. Чая, чаю, он, может быть, и нальёт. Но скорее всего и чая не нальёт, потому как ночь.

Странно это — ночь.

Это просто темно или что-то другое?

Если ночь на душе. Если хочется пить. Если ты приподняться не можешь. То тогда ты уже. То тогда только выть. То тогда ты и песню не сложишь.

Ну, положим, песни-то у него ещё получаются. Пускай корявые, но ведь и он не прямой. А песне корявость, между прочим, даже к лицу или к чему там? Куплету? Терпеть ненавижу прямые песни! То ли дело про попа и собаку. Или, скажем, такую: У меня была десятка. Я её пропил. А теперь вот приподняться просто нету сил. Но на это состояние я в душе плевал. Я про эту про десятку песню написал. О том, что: У меня была...

По похмелью вообще хорошо пишется. И этому есть определённое объяснение. Поскольку похмелье — это один из способов обрести совершенство.

Ведь что такое совершенство?

Совершенство — это некий апогей чего-то-там. И прийти к этому апогею можно либо всеми силами взращивая это самое чего-то, или отсекая от него всё лишнее. Вот как раз при похмелье и происходит это самое отсечение. Но сейчас мне почему-то не хочется совершенства. Сейчас мне хочется распрямиться и неплохо бы пива какого-нибудь.

2. Восточный Вопрос

Потрясающее распрямление. Принцесса на обочине. Ответственность за сон. Рассвет. Коньяк на полустанке. Попытка стихотворения. Степь или тундра? Существует ли Восток? Таинственная салфетка. Солнце в арке. Дождь. Озябшая Венера.

Распрямление всё-таки случилось и потрясло.

Конечно, он не первый раз уматывал по-пьяни к чёрту на кулички. Но, как правило, всё-таки знал куда или хотя бы от чего и уж по крайней мере на чём. Да и полно, проснулся ли он? А если нет, то пока и не стоит. Хотя бы во сне прокатиться в двухспальном купе с... Ох ты, ёлки-кошёлки! Это ещё что за принцесса на обочине???

«И нежность лица обрамляет волос белокурых волна!»

Спит. Она или я? Если она, то будить, пожалуй, не стоит, а если я? Нет, даже во сне нельзя быть откровенным хамом. Мы в ответе за свои сны.

И всё-таки это сон. Я, конечно, могу представить и в реальности путешествие незнамо куда, в СВ, незнамо с кем. Но чтобы при этом на столике стоял коньяк в хрустальном графине в окружении рюмочек, уже порезанный лимончик с сахаром, изюм, опять же в хрустальной вазочке..., это, извините, из прошлого века.

Вероятно, выпить всё-таки можно... Тем более сон... Тем более так красиво: Восход солнца. Степь. Прекрасная незнакомка. Утренний коньяк...

Поезд остановился, и это решило исход сомнений.

*Рассвет. Коньяк на полустанке.
В неведомой степи...*

Дальше не ложилось. Выползала рифмованная лажа.

*Где за окном щебечут ржанки
И иволга свистит.*

Полной воды лажа. Никто там не свистит и не щебечет. Да и никогда он не отличит ржанку от иволги. Гораздо честнее было бы написать:

*Я похмеляюсь спозаранку,
А рядом кто-то спит.*

Но, во-первых, спозаранку портит рифму, и самое главное: что значит кто-то спит? Не кто-то, а принцесса. Вот так и напиши:

*Я похмеляюсь после пьянки.
Принцесса рядом спит.*

Однако *похмеляюсь* выпадает из общей поэтической интонации, уж лучше написать *удивляюсь*. Но тогда получится, что после *пьянки* не я, а принцесса. Да и вообще *пьянка* здесь не нужна. Подумаешь — правда! Если всю правду в стихи тащить, то получатся не стихи, а газета. Вот как лучше:

*И словно юная вакханка
Принцесса рядом спит.*

А может, лучше вот так:

*А на вагонной оттоманке
Моя принцесса спит.*

Интересно, можно ли считать эту лежанку оттоманкой? А эту принцессу моей? Или совсем отказаться от женской рифмы?

*Коньяк. Дорожный полустанок
В неведомой степи.
А наш вагон — волиебный замок,
И в нём царица спит.*

Кстати, это степь или тундра? И вон та травка — ковыль или ягель? Солнце, кажется, восходит на Востоке, тогда он едет на Север. А значит, это скорее тундра, чем степь. Но не мог же он доехать до тундры так быстро? А как быстро? Сколько он вообще-то едет? И всё ли то время, которое он не помнит, — едет, может, он сначала летел, а потом уже поехал? Но если он летел, то мог и на юг залететь, а оттуда сейчас и возвращаться, и тогда это вполне может быть степь. Но если уж летел, то мог и в другое полушарие попасть. В американскую прерию или в африканский вельд. А там... Там уже всё по-другому. Там коньяки подают в графинчиках и солнце... Всегда ли солнце встаёт на Востоке — вот в чём вопрос. Это похлеще гамлетова бибианья. Нет, пожалуй, сейчас он не в состоянии представить себе Земной шар, во всей его огромности. Не помещается.

Кажется, Восток, как таковой, не существует. Но солнце всё-таки умудряется там восходить. Ориентироваться нужно по востоку, потому что он и есть Ориент. Восток был и будет для этого грёбаного Запада ориентиром. География, бя.

Он полез в карман пиджака за ручкой, чтобы по устоявшейся привычке записать четверостишие. (Он записывал не с целью последующего применения, а чтобы освободиться. Записанное можно было и не помнить, чего его помнить, если оно записано? Вот и сейчас...)

Он достал ручку и клочок бумаги, вернее, салфетку. Фирменную салфетку ресторана «Пекин». Где над розовой пагодой УЖЕ пестрели записанные стихи. И, кстати сказать, неплохие. И опять про коньяк:

*Коньяк и чай — вечерние предметы
На столике моём.
И, как мудрец, я выпиваю
Между двойным небытием.*

*Янтарный грамм ложится в рюмку
Из хрусталя.
И в той легенде о винограде
Есть вкус нуля.*

*Есть вкус нуля в янтарной притче
Про виноград.
Где каждый стих, как пьяный выстрел,
Бил нугад.*

Хорошие стихи. «Двойное небытие». «Вкус нуля». «Янтарный грамм». Но эта салфетка! Получается, он был в «Пекине»? На какие шиши, интересно знать? Нет, надо всё-таки разобраться с этим вконец осатаневшим вчера. Что он вообще-то помнит? Собственно говоря, он пошёл на службу... Да. По дороге встретился Михеич, со своими извечными заморочками, и потащил его смотреть какой-то потрясающий вид через какую-то арку, в которую как раз сейчас попадает солнце. И они часа два прождали этого самого солнца, а потом пошёл дождь. И тогда сидели уже под самой аркой, жгли какие-то ящики и пили портвейн. Михеич ещё всё нудел, что, мол, без Бахуса и Венера мёрзнет, а не то что мы, бедолаги. А я посоветовал ему нарисовать озябшую Венеру с бутылкой 33-го портвейна. И

тогда откуда-то появилась неизвестная девушка Мила. А я стал её уговаривать попозировать Михеичу для озябшей Венеры. На что Мила очень резонно возражала, что сейчас холодно позировать. А Михеич тоже весьма резонно возражал, что Венера и должна быть озябшей. Наконец, Мила согласилась, а я пошёл за портвейном. Когда же я, насквозь промокший, с тремя пузырями за пазухой, возвращался в арку, то увидел их в милицейской машине.

И кончился дождь. На стене красовалась недописанная Озябшая Венера. Сквозь арку сочилось солнце. Вид действительно был красивый. И портвейну на одного было неподобающе много. Всё это замечательно, но причём здесь коньяк в «Пекине»?

3. Воркующий вальс

Микроб пробуждений. Двойные близнецы. Танец на салфетке. Пивная. Провинциальная ночь. Отстрел голубей. Завтрак на площади. Платон. Охота за людьми. Пепельница-фонтан. Подмена действительности.

Поезд тронулся. И лучше всего было не думать о прошлом. Прошлое — это прерогатива памяти. Одна лишь память уверяет нас, что прошлое вообще имеет место. Однако можно допустить, что все воспоминания лишь творенья мига... Но тогда...

А впрочем, для чего же окунаться в то, что было? Не лучше ль окунуться в то, что есть? Не лучше ль просто погрузиться за окно и отдаваться там беспечным грёзам?..

Его мысль кружила по серому лабиринту мозга... А может быть, и не мысль. Вполне возможно, что это был некий микроб пробуждений... Пограничная субстанция между материей и сознанием... Если открыть глаза, то можно узнать время суток, если не открывать, то можно продолжить это неспешное и величавое шествие по тутикам и закоулкам подсознания... А если их не окрывать никогда? Если так и остаться в этом полупридуманном мире?

Он открыл и... увидел в кадре окна нежно-голубые буквы:

«Двойные близнецы, или голубиный вальс»

Автор сценария, режиссёр и исполнитель главной роли Олег Эсинский, в роли Оксаны — неизвестная, буфетчик и официант — Джонсон Носножд, в роли Наки — спаниель Апельсин. Провинция, 1994.

В окне проступает перспектива. Звучит музыка (Вальс Грибоедова). На молочно-белом паласе кружится в танце молодая пара: он — в чёрном фраке с иголки, аккуратно подстрижен, свеж и счастлив; она — кареглазая блондинка с длинными распущенными волосами, которые рассыпаются при поворотах золотистой паутиной и играют со складками прозрачно-голубого платья в какой-то только им ведомый танец. Вместе с музыкой в кадр врываются клубы голубоватого дыма. Изображение начинает уменьшаться, чётко обозначается белый квадрат паласа. Неожиданно около края квадрата показывается огромная голова засушенной воблы, потом возникает ещё более огромная пивная кружка, и постепенно палас превращается в салфетку на грязном, заброшенном окурками и обедками столе. Музыка стихает, и на её фоне проявляется гомон пивной. Проскальзывают короткие сценки из жизни отдыхающих (борьба на руках за соседним столиком; бомж, дотивающий чужое пиво; падающая грубо покрашенная эсеница в замызганном и облёванном пальто напевает: «Я чёрная моль, я летучая мышь...»; маслянистый буфетчик в засаленном халате зажигает спичку о брюки и т.п.). Около столика с салфеткой-паласом стоит танцор из этой самой салфетки, но не во фраке, а в потёртом джинсовом костюме, сильно помятый и небритый. Он отхлёбывает из кружки пиво и, глубоко затягиваясь беломо-

ром, выпускает на едва заметную пару, кружащуюся по салфетке, струю голубоватого дыма. У ног его лежит тёмно-рыжий коккер-спаниель. Олег (так зовут героя) берёт грязное блюдце со стола, наливает в него пива и ставит перед собакой.

— Пей, Накушка (Собаку зовут Наки), пей. Скоро домой пойдём, пей.

Себе Олег доликает в пивную кружку четвертинку водки и залпом пьёт. При этом идёт увеличение изображения и звука музыки на салфетку. Танцующие заполняют весь кадр, но они видны как бы преломляясь через кружку с пивом или через кусок тёмного янтаря.

Резкий обрыв звука и изображения.

Чёрный и тихий экран.

Медленно проступают приглушённые контуры летней ночи провинциального городка: слышится брехание собак, стрекот кузнечиков, переливы соловья; на фоне этих звуков проявляется деревянный забор, высокая трава, тополь. Приближается песня, которую напевает шатающийся из стороны в сторону Олег: «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором Осень нам танцует вальс-бостон, там листья падают вниз, пластинки кружится диск, не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон...» (Рядом с ним неспешно трусит спаниель.)

Тихое раннее утро. Обшарпанная комната: потолок с обсыпавшейся штукатуркой; отстающие обои; вдоль двух стен, перпендикулярных окну, книжные полки, собрания сочинений Кортасара, Борхеса, Пруста, Гессе, Маркеса, Потоцкого, Сэлинджера, Джойса, Бытова, книги по философии и истории, альбомы и т.п.; незакрытый секретер, заваленный рукописями, по которым играет солнечный луч; в центре комнаты измятая кровать без спинок, на ней, так и не раздевшись, спит Олег (его ноги, согнутые в коленях, покоятся на полу). Эфемерная камера упирается в иширку джинсов, под которой чувствуется слабое шевеление. Изящная женская рука плавно скользит по джинсам, медленно растёгивает пуговку, раздвигает молнию и... Из иширки показывается голова белоснежного голубя. Женица (танцовщица с салфетки (Оксана)), поглаживая белые крылья, подходит к окну, распахивает его и выпускает голубя в голубое небо. Потом возвращается к Олегу, который лежит с растёгнутой иширкой и выпроставшимся из неё возбуждённым членом. Оксана, опустившись на колени, начинает плавно, как в замедленной съёмке, ласкать его член, при этом происходит мелькание кадров: на одном женская рука обнажает и закрывает головку, на другом эта же рука растёгивает иширку джинсов, из которой вырывается белый голубь и улетает в раскрытое окно...

Небо, в котором кружит голубиная стая. Музыка (Шопен. Большой блестящий вальс, соч. 18). Оксана подходит к окну, берёт стоящий у стены карабин и целится в голубей (приклад тёмного дуба, развевающиеся золотистые волосы, подсвеченные солнцем, голубые складки лёгкого бального платья). Выстрел. Один из голубей камнем падает к ногам Олега, который стоит внизу, на мощённой булыжником пустынной площади, в чёрном фраке и чёрных лакированных туфлях. Капли крови падают на блестящую кожу и на иширки. Смена кадра: из члена извергается струя семени, ударяя в истомлённое страстью и желанием лицо Оксаны. Происходит мелькание кадров: выстрел, падение голубя к лакированным туфлям Олега / выброс семени в лицо голубой танцовщицы...

Олег стоит на площади. Поднимается сильный ветер, который тащит стаю перебитых голубей по брусчатке, они подскакивают, как мячики, сбиваются в кучу и уносятся в сужающуюся даль одной из улиц, уходящих с площади, при этом слышится шум воды, сливаемой в унитазе. Кадр возвращается в комнату Олега. Шум сливаемой воды слышится громче. Олег просыпается. Медленно переворачивается со спины на бок, сползает с кровати на пол, сидит, уставясь под ноги, и чуть слышно с натугой напевает: «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором Осень нам танцует вальс-бостон...» Встряхивается и хрипло зовёт: «Наки! Ко мне! Наки!» Из-под кровати выползает спаниель. «Пить! Наки! Пить! Я хочу пить! Ты слышишь, Наки! Пить!» Спаниель убегает за дверь. Невидимая камера проскальзывает по книжным полкам и задерживается на трудах Кьеркегора «Страх и трепет» и Шопенгауэра «Свобода воли и нравственность». Возвращается Наки, неся в зубах банку пива. Олег берёт банку. Треплет Наки по голове.

Выдёргивает кольцо. Слышится хлопок, и при этом... вылетает пробка из бутылки с шампанским. Пенящееся шампанское льётся в высокий хрустальный фужер.

В кадре прорисовывается столик посредине пустынной площади, за которым сидит Олег в светло-кремовом костюме, а напротив него Оксана в тёмно-коричневом платье. «Отутюженный» официант с салфеткой на полусогнутой левой руке (тот самый буфетчик из пивной, принявший обличье негра) **наливает искристое Аи**. Изысканно сервированный стол (ваза с фруктами, из которой почти до стола свисает ветка крупного винограда, букет фиалок в фарфоровой вазочке, на больших тарелках дымящийся антрекот с каким-то фантастически-сложным гарниром и т.п.). Пробка из-под шампанского, подпрыгивая, катится по площади. Откуда-то наперерез ей выкатывается пивная банка. Они катятся, подпрыгивая и играя, и исчезают в дали той же самой улицы, в которой исчезли сбитые голуби.

Шум сливаемой в унитазе воды. Олег, сидящий на полу, закуривает беломор. Неподальку от него стоит проигрыватель. Олег открывает крышку и опускает на пластинку иглу.

Вальс-бостон Розенбаума.

— Наки! Пить! Я хочу пить, Наки! (голос Олега уже не такой измученный) — Наки убегает. А невидимая камера снова скользит по книжным полкам и тормозится на томике старинной китайской прозы «Путь к заоблачным высотам».

Площадь. Столик на двоих. Олег в кремовом костюме раскуривает тонкую сигару.

Читает стихи:

Этот город сумасшедших людей.

Эти улицы, полные дел...

От игры своей устал лицедей,

Обозначил в своей жизни пробел.

Надоели эти смута и муть.

Режиссёр давно зовёт на Восток...

И так просто в пропасть шагнуть.

И так просто скомкать листок.

А в душе с утра маета,

И навис похмельный циклон.

И сыграет лицедей для себя

Эту пьесу под осенним дождём.

На столик прыгает спаниель. Съезжает с него вместе со скатертью. Разлетаются, словно в замедленной съёмке, приборы и брызги шампанского...

Открывается дверь, и входит Наки, неся в зубах банку пива. Олег открывает, выливает немного пива на пол для Наки. Пьют и лакают.

В коридоре слышится стук костылей. Какая-то возня у двери.

Дверь открывается. Входит Оксана на костылях, приволакивая изуродованные ноги. На старый поношенный свитер спадает толстая коса. В правой руке прижатая к костылю книга Платона.

— Олька, посмотри, как замечательно!

Читает Платона:

Чужеземец: В сухопутной охоте бывают две главные части.

Тэстет: Какие?

Чужеземец: Одна — охота за ручными, другая — охота за дикими животными.

Тэстет: Разве существует охота за ручными животными?

Чужеземец: Если только человек ручное животное. Считаю, впрочем, как тебе угодно: либо что вообще не существует ручных животных, либо что есть какое-то другое ручное

животное, а человек животное дикое; или, может, быть ты скажешь, что человек — ручное животное, но не признаешь никакой охоты за людьми? Что из всего этого тебе понравится, это ты нам и определи.

Тезет: Но я думаю, чужеземец, что мы ручные животные, и утверждаю, что существует охота за людьми...

На фоне звучания диалога проявляется сервированный столик, стоящий на пустынном песчаном пляже у берега моря.

За столиком сидит Олег и курит сигару. В небе парит голубиная стая. Чуть слышно доносится музыка Баха (ария из «Магнификэт» (N 3) в переложении для трубы). Ударяет выстрел, и один из голубей падает на стол. Кровь, стекающая по белой скатерти, перемешивается с пролитым шампанским.

Оксана медленно закрывает книгу.

— Скажи, Оля, а у тебя есть карабин?

— Карабин? Откуда? Зачем? Почему карабин?

— Странно... Я слышала сегодня утром выстрелы из твоего окна...

В кадр попадают стреляные гильзы, разбросанные по полу. На открытой покачивающейся форточке сидит и воркует белый голубь.

— Выстрелы? Не знаю. Не слышал. Я спал... Слушай, Оська, у тебя есть деньги? Понимаешь, мне деньги нужны, хотя бы немного...

Оксана протягивает томик Платона, в котором заложена десятка.

— На, возьми...

Олег медленно вытягивает десятку. Смотрит на неё с каким-то сомнением. Потом решительно суёт в карман.

— Спасибо, Оська, ты настоящий друг.

— Ты хоть ширинку-то застегни, — говорит Оксана с густой грустью в голосе. После чего разворачивается и ковыляет в свою комнату.

Вечер. Та же самая вчерашняя пивная. Та же оборванная эсеница поёт про свою атмосферу и получает приветы из свободного Парижа. Тот же бомж спит в уголку. У того же столика стоит сильно подбитый Олег. Он гасит окурки о блюде и покачиваясь идёт к буфетчику.

— Насыть-ка ещё кружечку, дорогой.

Струя пива течёт из крана, постепенно перетекая в струю шампанского, которое разливает по высоким фужерам буфетчик-негр. Столик на ночной площади. Горят две свечи. Олег раскуривает тонкую гаванскую сигару. Недалеко от столика музыкант в белом костюме играет на трубе арию Баха из «Магнификэт» (N 8), у его ног тоже горит свеча.

Ночь. Олег в джинсовом костюме шатаясь идёт по какой-то площади. В центре которой стоит простой (без скульптур) неработающий фонтан. Олег спотыкается о парапет бассейна и падает на его грязный захламлённый пол. Огромные куски цветной бумаги. Обгорелые бруски дерева...

Внезапно кадр заполняется вспышкой кончика сигары. Фонтан уменьшается, превращаясь в высокую пепельницу. (Пепельница с пружиной, при нажатии сверху на ручку, играющую роль трубы фонтана, пепел и мусор (брёвна — спички, куски бумаги — фантики) проваливаются в нижний резервуар.) На эту-то ручку и нажимает Олег, сидящий за столиком. Олег, барахтающийся в пепельнице-бассейне, проваливается в захламлённую бездну...

Подземный переход. Дверь среди кафельных плиток распаивается от сильного удара изнутри. Из двери вываливается перепачканный и измятый Олег. Он, шатаясь, подходит к стоящему неподалёку музыканту (тому же самому, который стоял на площади, только одетому попроще). Олег что-то говорит ему и даёт деньги (ту самую полученную от Оксаны десятку). Вокруг музыканта ходят, воркуя, белые голуби. Музыкант играет «Колыбельную птичьей земли» Шерринга. Олег, покачиваясь, уходит. Медленно поднимается по лестнице перехода.

Тёмный силуэт Олега в квадрате выхода плавно сливается с законным отражением Эсинского. Рассветает.

4. Вдруг-вектор

Пробуждение принцессы. Сумасшествие. Храбрый клоп. Мы едем к океану.

Вот тут-то и проснулась принцесса. Она оказалась совсем, совсем ещё юной. Да что там юной, перед ним сидел прелестный синеглазый ребёнок лет 8-ми.

— Уже проснулся? — спросила принцесса.

— Не знаю. Не уверен. Вряд-ли. Нет. Пожалуй, что нет.

— Какой ты смешной, как мой папка, он тоже с утра бывает глупым.

— Правда? А где он, твой папка? И вообще, ты кто?

— Ты что? Забыл, что ли? Я Оксана. Оксана Маечкина.

— Ага. Понятно. То есть ничего не понятно. А как ты, то есть я, то есть мы. Как мы здесь очутились?

— Как? Да никак, проснулись, вот и всё. Поезд, он сам везёт. Ты можешь спать, спать, спать, а проснёшься — и уже приехал, вот и всё.

— Теперь уже гораздо понятнее. А давай мы с тобой будем завтракать. Я буду пить коньяк с лимоном, а ты есть изюм с орехами. А то что-то мы едем-едем и не завтракаем. Ты, кстати, не знаешь, это чей коньяк?

— Ну, ты ва-атще. Наш, конечно! Чей же ещё?!

Это «*Наш*» окончательно сбило с толку. Может, он умер? Мог же он умереть. От трёх фугасов портвейя очень даже просто можно умереть. Или с ума сойти. Точно! Наверное, он сбрендил. Сбрендил и теперь кино смотрит в окошках, коньячище по утрам трескает, в СВ разъезжает, а на самом деле ему всё это просто-напросто кажется. Сидит он на больничной койке и пьёт кисель с бромом. А девочка, девочка — должно быть, сиделка.

Если так, то всё нормально. Тогда так и нужно оставаться сумасшедшим. Это ли не праздник?

— А ты кем работаешь? — спросила сиделка.

— Работаю? Ну, я, видишь ли, стихи пишу, рассказы, если это, конечно, можно считать работой, то есть денег-то мне за них не платят, а за что платят, я и сам не понимаю, по всем правилам меня бы давно следовало выгнать.

— Плохие стихи пишешь?

— Нет, стихи-то как раз хорошие...

— Почитай.

— Ну, я их плохо помню. Хотя... Ну, хорошо... Пожалуй... Ладно... Вот только какие? Ага... Слушай:

Тип-топ! Тип-топ! Познакомьтесь, это клоп.

Он идёт себе по крыше, а за ним крадутся мыши.

Не боится клоп мышей и гоняет их взащей!

— Ничего. А зачем мыши за клопом крадутся?

— Зачем? Ну, чтобы съесть.

— Ты что! Мыши не едят клопов. Это клопы едят мышей, а мыши, они зерно едят.

— Да? Ну, возможно. Только где же на крыше зерно? На крышах не бывает зерна. Вот они и решили клопа съесть.

— А он их сам укусил, да? А почему клоп на крышу ушёл? Поморили?

— Поморили? Да, наверное, поморили.

— Мы тоже клопов морили. Мама кричала: «Это срам! Жизни от них никакой! Ты бы хоть ребёнка пожалел!» А папка говорил: «Ребёнку от твоей морилки вреда будет больше. А от клопов ещё никто не умирал. Клопы, они, можно сказать, братья по крови».

— Правильный у тебя папка.

— Папка у меня хороший. Только пьяница. Как ты. Ты мне тоже сразу понравился.

— Да?! Слушай, а когда?

— Что когда?

— Ну, когда я тебе понравился?

— Я же говорю: сразу. Здорово ты меня отобрал.

— Отобрал?! У кого я тебя отобрал?!

— Как у кого? У милиционера, у кого же ещё?

— Постой, постой! Я тебя отобрал у милиционера?!

— Ну да! Ты что, забыл, что ли?

— Забыл! Я, понимаешь, совсем ничего не помню.

— Ну, точно, как мой папка! Он тоже вечно всё забывает. Меня милиционер в милицию забирал. А я упиралась и плакала. А ты сказал: «Не трожь девчонку». Он спросил: «Твоя, что ли?» Ты сказал: «Моя!» И он отпустил.

— А потом?

— Потом мороженое купил.

— Мороженое? Слушай, а зачем я это сделал?

— Как зачем? Потому что добрый. Изюму вон мне купил, орехов. И ещё зачем-то вазочку. Сказал: «Коньяк надо пить из графина, а изюм есть из вазочки». Смешной.

— То есть ты хочешь сказать, что я вот это **купил**? Подожди, подожди. А как мы в поезде-то оказались?

— Ну очень просто. Ты купил билеты, и мы поехали.

— Поехали? А куда мы с тобой поехали?

— Ну, как куда? К океану, конечно.

— К океану?!.. А зачем?!

— Ну, я плакала, а ты сказал: «Не нужно плакать. А то наплачешь целый океан, как Алиса». И спросил, видела ли я океан? Я сказала, что нет. И ты пообещал меня отвезти.

— Отвезти? Постой, постой, да ведь это выходит... Выходит, что я тебя украл, можно сказать!

— Да нет. Я сама с тобой согласилась ехать, потому что ты добрый.

— Добрый! Ничего себе добрый: увёз ребёнка от папы с мамой куда-то к чёрту на куличики. Да они же с ума там сходят небось. А фотокарточку твою уже по телевизору показывают.

— Да нет. Ничего они не сходят. Мамка, как от папки ушла к своему дядя Грише, так ей сразу и не до меня стало. Я когда этого Гришу противного укусила, они меня знаешь как били. Я после этого целый месяц болела, а потом к папке ушла. Только папки дома не было: его лечиться отправили от какого-то алканизма. И я стала в вокзале жить. А потом ты меня с собой взял.

— Хор-рошенькая история. Ну ты ешь, ешь изюм-то. А я, я, пожалуй, покурю пойду, покурю...

5. Вакханалия вакуума.

Три расписания. Сновидческий Владивосток. Блаженны нищие памятью. Неясность жизни. Возвращение на Землю. Воспоминание о сигаре.

Оказывается, были и сигары. Точно такие же, как в том кино на окне. А вот расписания не то чтобы не было. Но, наоборот, его было слишком. То есть на три поезда сразу:

Адлер-Ленинград, Москва-Севастополь и Москва-Владивосток. К океану вёз только последний. Хотя ведь море — тоже часть океана. Интересно, откуда же у него взялись деньги? «Пекин», коньяк, изюм, графинчик, океан — расходы немалые. Кстати, надо бы выяснить, сколько их вообще-то осталось. А то как ещё возвращаться-то будем?

Получается не сон. Во сне он не ездит во Владивосток на поезде. Зачем? В его сновидческом пространстве есть горный проход из Крыма до Владивостока — километров пять по заросшему реликтовым лесом ущелью... В том пространстве Владивосток очень красивый город. Небольшой — домов пятьдесят, стоящих по краям горной котловины. Красная высокая колокольня и сероскальная тень от неё, уходящая в марево облаков... Он прекрасно знал этот город. Часто бывал там. Пил пиво с океанскими крабами на пирсе. Бросал камушки в воду...

Не сон, не сон это... Сон тем и отличается от реальности, что начинается из нуля. В нём существуешь сразу таким, каким есть. Предыстория отсутствует. И зачем он только разрушил это блаженство нищих памятью? Что ему делать теперь с этим знанием? Да и полно, так ли всё это было? Не приснился ли я девочке Оксане? Вполне может быть, не она мой сон, а я её. А на самом деле её родители мирно спят в соседнем купе. Они просто соскучились по друг другу, а дочка... Дочка разрушала их встречу тем божественным стыдом, который и сделал человека человеком... Говорят, селезень, отвлекая уточку от гнезда, разбивает яйца во имя весенней любви...

Все мы лишь сон Господа Бога, как утверждал епископ Беркли. А ты, девочка, исчезнешь, если чёрный король проснётся, и не дойти тебе до восьмой линии, и не стать тебе белой королевой, и если этот чёрный король тебе только снится, то это не значит, что ты не можешь сниться ему...

Есть нечто тайное, что должно оставаться тайным... Иначе — нарушение жизни, вплоть до смерти. Человек боится и не хочет смерти, потому что она раскрывает все карты. Загадочность и поэзия исчезают. Наступает царствие скучной ясности.

Я жив, потому что не знаю, куда везёт меня этот поезд.

В глазах потемнело, и вагон растянулся, теряясь в вечности... Пространство налетало на поезд с курьерской скоростью. Вакуум изгибался в дикий танец. Всё расплывалось, таяло, капало расплавленным воском незнакомых сознаний. И только в самом конце показывалась дверь, уводящая в тамбур и возвращающая на Землю.

Он вспомнил о сигаре, тоскующей об огне, тоскующей о превращении в дым и туман сознания.

6. Воспоминания воздуха

Достоевский. Вирджиния и махорка. Шутки жизни. Беспорядочность поэтов. Рассказ Дверкина. Законная реальность. Сон, навеянный полётом снежинки вокруг зрачка. Песня о Великом потопе. Талые слёзы изображения. Воздушная память. Самогон и командорские часы. Экспертиза стоп-крана. Слеза лунного демона Воглеа. Колыбельная.

В тамбуре курил самокрутку из «Правды» сам Достоевский. Он сверкал горячими гнедыми глазами и таял в дыму из табака и правды. Спрашивать его о направлении поезда было страшновато и неуместно. Но молчание и неизвестность тяготили густотой олова и свинца.

Почти сиреневый вирджинский дымок сливался с жёлтым махорочным и, несмотря на разницу в статусе, предполагал равенство затянувшихся.

— Простите. Я. Понимаете. Определённым образом я потерялся. Вы, извините, не внуком ли приходиться?..

— Похож. Как говорится, чем жизнь не шутит? Может, и согрешила моя бабка со Страдальцем великим? Вот и эпилепсия у меня, и графомания, и борода, и имя... Дверкин. Фёдор Михайлович Дверкин.

— А я Эсинский, Олег. Еду вот, а куда? Зачем? Мне сегодня отчёт сдавать нужно, а я к океану уехал.

— Бывает. Поэты — существа беспорядочные.

— Поэты? А как Вы, собственно?

— Да уж если человек меняет отчёт на океан, то уж не иначе...

— Вообще-то, конечно. А Вы случайно не знаете, куда идёт наш поезд? Я как-то не успел посмотреть, когда садился... Обычно-то я помню, но вчера моих друзей забрали, и осталось очень много портвейну...

— Да уж, вчера-то, оно конечно. Взгляд ваш носил оттенок стекла и металла, но читать ему было достаточно сложно.

— Вот я и хотел бы уточнить: к какому из трёх океанов?

— Напрасно, молодой человек. Очень даже напрасно. Зачем вам это? Оставайтесь в своём неведении. Случайность встреч, случайность мыслей, неплановое продвижение по лабиринтам души... Хотите историю?

— Вы так считаете?

Дверкин как-то весь подобрался, и гневные глаза его с чёрным нависом метнули молнию юности. У него и голос, и интонации, и стиль вдруг стали поэтичнее и тоньше. Дым простирался между ними:

*Это тоже был поезд. Я нашёл её в отражениях вагонных стёкол. Отражение наплывало на деревья и деревушки придорожных пейзажей. Пейзажей, только что вышедших из-под кисти январской ночи. Снежинки дрожали в её глазах, и это кружево тонких ресниц и снежинок разрушало и так-то едва уловимую грань от портрета к пейзажу. И я снова терялся в своём понимании Мира. Законная жизнь представлялась реальнее, чем неуклюжее существование всех этих сонных пассажирских судеб. И если б не владелица заснеженных очей... Если б не она, то, видимо, я ушёл бы, распахнув окно в эту исчерна-голубую вечность холодного январского пейзажа. Кажется, я что-то сказал ей о сне, навянном полётом снежинки вокруг зрачка, и разговор наш, **виясь позёмкой вокруг сю-жетных холмов реалий**, терялся где-то вдали и возвращался, застывая морозным узором в отражении её приоткрытых губ.*

— У тебя такая тонкая кожа и такая детская душа, как же получилось, что ты уже старик?— спросила она из своего расплывчатого отражения.

— Не знаю,— сказал я, пожимая плечами,— я так плохо разбираюсь во времени... Но зато. Зато я умею петь песни. Хочешь, спою тебе о великом потопе?

— Хочу,— сказали губы на стекле.

Колёса заполнили небольшую паузу и, сами того не ведая, согласились быть увертюрой к моей протяжно-протяжённой песне.

Дверкин слегка откашлялся и запел неожиданно чистым и хорошо поставленным баритоном:

*То-нет го-род, то-нет в не-бе,
Захлебнулся в обла-ках...
И лишь те, в чьём сердце ве-тер,
Не заметили по-топ...*

*То-нет го-род, то-нет сто-льный,
Весь окутала до-ма...
И лишь те, в ком сердце пти-цы,
Не сошли, как все, с у-ма...*

*То-нет го-род, то-нет в не-бе,
Тонет в зареве зве-зды...
И лишь те, кто жил на во-ле,
Не страшились вы-соты...*

То-нет го-род, то-нет в не-бе...

— Послушай, почему так дрожит воздух?— спросила она. — А моё отражение..., смотри! По нему текут талые слёзы, неужели оно плачет над песней?

— Видишь ли, — сказал я, — эта песня впервые наполнила воздух, и если она пришлась по душе ему, то он принимает песню в свою воздушную память. Небольшие подраживания тут неизбежны. Это ещё, видно, не так-то сильно она его забрала..., иногда от песен зарождаются воздушные смерчи, которые рукоплещут ей, сметая хлам повседневности с поверхности Земли.

Разговор наш постепенно, а может, спонтанно, ушёл так далеко от пассажирско-выверенной нормы, что продолжать его в трезвом обличии становилось просто невозможным. А поскольку совсем-совсем не хватало денег, то я выменял у какой-то доброй женщины аж целую четверть деревенского самогона на свои отстающие командорские часы.

Мы сидели на полу купейного прохода, закусывая огненный самогон подмороженным яблоком, и толковали об отражениях. Примерно через литр выяснилось, что мы едем в разные стороны. Причём было неясно, кто и что перепутал: я ли поезд, я ли город, я ли время своего отправления, или же машинист включил дополнительный задний ход, и поезд, уезжая вдаль, приближается к вселенскому нулевому началу? К тому же, сидя на полу, я уже не видел отражения её глаз, запорошённых снегом, но видел себя в отражении её зрачков. Причём в левом зрачке я был пьяный и близкий, а в правом холодный и далёкий. Тогда я понял, что это любовь пытается задержаться в моей душе... Но отсутствие времени, к сожалению, исключает любую задержку... Поэтому пришлось провести ночную экспертизу работы стоп-крана. И ругань упавших из сна пассажиров подтвердила исправность его механизма.

Поле было белым, и в нём тенями темнели скирды. Должно быть, это наши следы упирались в одну из них. Луна раздвинула облака, и демон Воглеа с прозрачной свитой из редких снежинок спустился к соломенному столу двух влюблённых, остановивших время и пространство, сошедших с неведомо куда идущего поезда жизни, припавших отражениями глаз к бисерному зеркалу млечной дороги и поднимающих пластмассовые чашечки с самогоном за светлую нечаянность их встречи.

Чёрный демон Воглеа отогревался около их по-цыгански наброшенной страсти, и его белое ледяное сердце уронило слезу от странной радости при виде чужого счастья.

— Странно, — подумал я, — откуда появился этот демон? Уже не игра ли он взвинченного алкоголя воображения? А если он может быть игрой, то почему я уверен в реальности этой любви на заснеженной скирде соломы? Но если я не уверен в реальности того, что могу потрогать, то в чём я вообще могу быть уверен? И зачем мне уверенность, если есть счастье?

Потом я, кажется, заблудился в бесконечных полях этой ночи. И лишь спустя год отыскал эти самые скирды. В ближайшей деревне я узнал, что какая-то женщина долго болела здесь неизвестной болезнью и умерла три месяца назад — при родах.

И вот, её трёхмесячная дочка протянула свои ручки к моему лицу, заслонившему ей звёздное небо...

И тогда я взял её на руки и, тихо покачивая, запел колыбельную песню:

То-о-нет го-род. То-о-нет в не-е-бе...

7. Вагонная весна

Капельки памяти и слёзы солнца. Пьяница-цветочек. Покер. Салочки. Искусство. Смысл жизни. Короли и дельфины.

— У меня есть немного коньяку. Так, может, мы...

— Я люблю коньяк. Возможно, у него тот же возраст, что и у моих детей. Янтарные капельки памяти или, наоборот, беспамятства. Виноградные слёзы солнца... Не откажусь.

— Вот, Ксюша, познакомься, это Дверкин. Он умеет петь песню о Всемирном потопе. Возьмём его в гости?

— И никакая я не Ксюша, а Оксана Маечкина. А Дверкин твой пусть заходит. В карты играть будем.

— В карты? В какие карты?

— В пьяницу.

— Я, Ксю... Оксаночка, уже вчера наигрался в пьяницу, и мне, честно сказать, как-то не хочется...

— Тогда в пьяницу-цветочек.

— Нет, малыш, какие из нас цветочки? Мы сейчас с дядей Дверкиным лучше коньяку выпьем, а потом я тебя в Покер научу играть, ладненько?

— Ладно. Только немного пейте, а то ты опять про меня всё забудешь и к океану не отвезёшь.

— Хорошая у тебя дочка, — улыбнулся Дверкин.

— Тут, понимаешь, Фёдор Михайлович, такая история... Вот у тебя, как бы и есть дочка, но её как бы нет, а у меня вот как бы и нет, но вроде как бы и есть. То ли порождение мечты моей, то ли насмешка над бредом.

После третьей рюмки потеплело. И в душе, и вокруг. Уже не было того беспокойства и стеснения. Угрюмая песня колёс сменилась их весёлым перестуком. Сердце звенело. И океан уже не пугал, а манил.

— А что, Дверкин, ты вот как полагаешь, это тундра за окном или, наоборот, степь?

— Степь? Да — степь, наверное. Степь да степь кругом! Путь далёк лежит. В той степи глухой паровоз бежит! И та-та-да-та тай-да-да, он товарищу трайда-та-да-та. Ты, товарищ мой, не попомни зла. В той степи глухой обними меня...

— А ты, Дверкин, хорошо поёшь. Душевно.

— Моей девочке тоже нравилось, а у её матери текли от моих песен талые слёзы...

— А где она сейчас? В смысле девочка, конечно.

— Где? Выросла. Я ей не нужен. Я сейчас никому не нужен. Вот посмотрю в последний раз на океан и тогда уж умру.

— Ну что ты, дядя Дверкин, зачем умирать? Мы тебя с собой возьмём. В Покер будем играть. Или в салочки. Ты умеешь в салочки?

— В салочки? Не знаю, нет, наверное.

— Ну я тебя научу, это просто. Только тут тесно. Тут лучше в Покер играть. Давай Олег в Покер играть, а то вон и дядя Дверкин загрустил. А ты сказал, научишь в Покер.

— В Покер? Ну хорошо. Давайте в Покер. Значит, смысл в том, чтобы угадать. Нужно угадать, сколько ты возмёшь. Тут, собственно, не очень важно, какая карта. Можно и с плохой картой угадывать. Очки даются даже за ноль взяток. Важно, в общем-то, искусство игры.

— Искусство? При слове искусство мне почему-то всегда хочется плакать.

— Плакать? Это... это хорошие слёзы. Это родниковые слёзы счастья. Мы, Оксаночка, и пришли в этот мир, чтобы смеяться и плакать, и любить искусство, и уезжать иногда к океану, и пить коньяк в тумановой степи, и петь песни... Тот, кто не плачет при слове искусство, ещё не совсем человек.

— Ты такой смешной и так смешно говоришь.

— Уж лучше быть смешным, чем страшным.

— Настоящие короли считают по-другому.

— Ну я, положим, не очень-то настоящий, и уж тем более не король. По-моему, очень скучно быть королём.

— Зато король может купить себе ручного дельфина.

— А вот здесь-то ты как раз ошибаешься. Королевская власть не простирается на дельфинов. Дельфины, а, впрочем, и люди вольны любить кого угодно.

— А в океане бывают дельфины.

— Именно. Именно в океане они и бывают.

8. Воссоздание Вавилона

Мелодия движения. Слова о словах. Вавилонское столпотворение. Неспешное движение в золотистых струях. Тяжёлое отрезвление. Чемодан. Мрак и праздник. Дерзкое ограбление.

Фуражка. Околышек. Проводник. Раздача утреннего чая... Неужели всё ещё утро? Утро в степи на скорости двадцать метров в секунду. Вектор поезда, указующий океан. Ноты из ласточек и проводов. Мелодия случайного движения.

Случай, случайности, случайники... Чаинки душистого чая, приставшие к губам, с которых срывались трепыхавшиеся, как рыба на зелёной траве, слова стихов; неспешно-стучащие, как вагоны товарного поезда, слова докладов и лекций; робкие, как распускающиеся на рассвете маки, слова объяснений в любви; шальные, как пена в подогретом шампанском, слова разнотолков и споров с друзьями; тихие, как шорох осенней листвы, слова сказок для засыпающих в своих кроватках детей...

И вот ещё воркующие, как клёкот голубей, слова проводника:

— Желаете чай, кофе, пиво?

— И коньяк, и лимонад, и конфеты «Мишка на севере»!

Вместе с проводником нас стало четверо. И разговор наш вился высоко.

— Вот, скажи мне, Олег, ты ведь как-никак учёный. Можно ли сейчас построить Вавилонскую башню?— поинтересовался Проводник.

— Воздвигающий башни сорвётся. Отчего нельзя? Можно, конечно. А знаете, какой она будет формы? Чтобы как можно дольше не рухнуть под грузом собственных камней, она должна иметь форму струи, бежащей из крана. Научно установленный факт! Равнопрочность.

— Ну!? Неужто в самом деле? Конечно, если бы не было силы тяжести... Без силы тяжести верх и низ теряют всякий смысл, это понятно, но неужели же равнопрочность выкидывает такие коленца, не заботясь ни о какой силе тяжести?

— А если башня строится в душе?— спросил вдруг Дверкин,— О чём же должен помнить человек, затевающий подобный проект?

— О чём должен помнить человек, который не в состоянии бороться с силой тяжести своей гордыни? На что ему, столь горделивому равняться? Ну неужели же не ясно? На струйку, вытекающую вниз.

:

— Знавал я одного строителя. Он как-то раз с крыши помочился, да прямо и на провода. Вот Господь его за струйку-то и сдёрнул. Тут уж, как говорится, лучше нет красоты, чем отлить с высоты.

— А у нас мальчишки тоже знают, как делали? Хочешь, говорят, руки за спиной соломинкой завяжу, и не развяжешь? Ага. А тому, кто не верил, они струйкой вязали! Дураки, правда?

И вдруг накатила тяжёлая трезвость. Боже ж ты мой! О чём я? Где? Какие-то башни. Струйки. Маета вавилонская. Дверкин этот. Проводник. Оксана Маечкина. Ну, уехал. Ну, пьян был. Ну, всякое может случиться. Но, извините, будучи в здравом уме и незамутнённом сознании за полдня так и не узнать направления! К чёрту! Срочно расплачиваемся. Выходим на первой же станции и домой! Домой! К своему столу, к тетрадам, рисункам.

Никаких океанов. Никаких ветров. Оксану в приют. Дверкина к чертям собачьим. Проводнику денег. И в конце концов, отчёты тоже нужно сдавать, а не только, понимаешь, пиво пить и водку пьянствовать.

— Всё, ребята. Пошумели и хватит. Нам с Оксаночкой выходить пора.

— Да ты что, дорогой, не с той руки водку выпил? Какой выходить? У тебя ж билеты до конечной! Езжай спокойненько. Зачем торопиться?

— Ну до конечной! Когда она, эта конечная? Никто ни черта не знает! Всё! Всё! Всё! Никаких конечных! Сколько с меня? Сейчас, погоди. Погоди. Где же деньги-то?

Денег, естественно, не было. Их не то чтобы не было, а даже и ржавой копеечкой не пахло. Набрал, блин. Пиво, кофе, коньяк. А платить кто будет? Дверкин? Или, может, Оксана Маечкина? Неудобно-то как... Может, обворованным прикинуться, а? Или слинять по-тихому на первой остановке? Слинять-то, слинять, а дальше, дальше-то что?

— Чтой-то деньги девались куда-то?

— Дык ты же их в чемодан убрал. Сказал, что так надёжнее, и убрал!

— В чемодан? В какой ещё чемодан? Ах, в че-мо-дан! Ну, конечно же, в чемодан! На полочке лежал чемодан. На полочке лежал чемоданчик. На полочке лежал, на полочке лежал, на полочке лежал чемоданчик...

Лицо, опухшее от разных неожиданностей, стало вытягиваться. И мозг снова бросался в полную несознанку. Если до этого был полумрак и полупраздник, то теперь и того, и другого хватало по полной. И даже с горочкой. И даже с кисточкой. И даже с помпончиком.

В чемодане лежали доллары.

Много.

Полный чемодан нежно-зелёной валюты.

А это был не мой чемодан, а это был не мой чемоданчик, а это был не мой, а это был чужой, а это был чужой чемоданчик. Он выбросил в окно чемодан, он выбросил в окно чемоданчик...

Что же делать-то?

Ё-моё!

Ну надо же так вляпаться.

Ничего себе попили пивка.

Интересное кино получается.

Да что ж за день-то такой!

Сразу все с ума свихнулись, даже кто безумен был.

И тогда...

— Слушай, у меня в долларах. Тебя это как? Ничего? Сдача с сотни найдётся?

— Обижаешь, слушай! Вместе пили, да! Зачем деньги?

«В эфире Криминальная хроника. Основное событие, взбудоражившее сегодня Московский уголовный розыск, это дерзкое ограбление Центробанка. Преступник среди бела дня спустился по водосточной трубе, оторвал, как оказалось, не очень-то прочную решётку, разбил окно и, угрожая пистолетом, заставил управляющего открыть сейф. Забрав в банке имеющуюся наличность, преступник ушёл по той же самой водосточной трубе и затерялся в московских крышах. Ущерб, нанесённый государству, оценивается в пять миллионов долларов. Приметы грабителя: Рост средний, волосы, борода и усы тёмные с проседью, глаза болотные, возраст 30-35 лет. Был одет в синий джинсовый костюм и кроссовки. Всем, кому что-либо известно об этом дерзком преступлении, просьба позвонить по телефону...»

9. Выход вбок

Утопленник. Горизонт событий. Пределы тайны. Обитель гениев. Воплощение пророчеств. Буквальная ответственность. Подфартило. Ум-дурист-мудрость. Жёлтый мерседес. Добрый Дверкин. Ревизоры. Боязнь электричества. Музыка Шнитке. Жало под сердцем. Товарный поезд.

Поездам нет дела до проблем пассажиров. Поезда выстукивают свой дорожный марш. Облака двигают небо. Васильки трепещут под ветром. Дверкин поёт для Оксаны обещанную песню:

*То-нет го-род. То-нет в не-бе.
То-нет в зареве звез-ды.
И лишь те-е, кто жил на во-ле,
Не страшились высо-ты.*

Хорошо поёт Дверкин. Хорошо стучит поезд. И сердце тоже стучит. Тонет. Или уже потонул. Ухнул в чёрную дыру. Или летит, но уже без возврата. Около чёрных дыр есть такая граница, именуемая горизонт событий. Так вот, за ним перестают действовать все физические законы, и переступивший её уже никогда не вернётся. Может быть, там выход в иные миры? А может быть, это жилище Бога или дьявола? Центр мира или его конец? Никто не знает. Известно только одно: за горизонтом событий начинается тайна.

Вот и он ушёл за свой собственный горизонт событий, и обратно ему не вернуться. Тайны внутреннего Я показали своё лицо. Оказывается, он умеет лазить по водосточным трубам и грабить банки, и исчезать в московских крышах...

Мы совсем, совсем не знаем, на что способны.

В каждом из нас живёт своеобразный гений, но не каждый способен в него поверить...

Боже ж мой! Вместо того, чтобы сдавать отчёт, он пошёл грабить банки, а теперь вот едет к океану. И зачем? Зачем ему это надо?

Ведь я же всю жизнь предпочитал странствия в пространстве духа телесным приключениям. Ну, куролесил по мелочам, ну, бывало, но чтоб такое...

А может, это не он? Может быть, кто-то ограбил, денежки при погоне бросил, а я просто-напросто подобрал? Чепуха, пять лимонов на дороге не валяются. Да и приметы...

Неужели же то, о чём он писал в своих книгах, примеривая на себя чужие судьбы, случилось? Неужели же в Начале действительно было Слово? И «Мы несём ответственность за каждую букву» — не расхожая фраза? Что же там теперь, по законам жанра? Бежать за кордон? Штаты? Канада? Быть может, Швейцария? Или Австралия? Что придумал для меня этот Великий сценарист по имени случай? И не пора ли выйти из игры? Сломать его запутанную пьесу?

Ах, Олег Михайлович! Не Вы ли считали себя неординарной личностью? Не Вы ли тужились в попытках удивить своих друзей, как, впрочем, и весь мир? Все Ваши маленькие подвиги и похоженья нашли свой окончательный финал. Услужливое подсознание исполнило за Вас всё в самом лучшем виде. Кто-то во сне видит периодические системы и формулы бензольных колец, а Вы грабите банки. Прелестно. Ну, не расстреляют же Вас за это. Ну, посадят. Повысите жизненный опыт. Не Вы ли лет десять назад уверяли, что писателю тюрьма пойдёт на пользу? Вот и пользуйтесь случаем. Можно сказать, подфартило.

Мы несём ответственность не только за поступки, но и за мысли. За мысли даже, наверное, больше. Но если поступок был, а мысли не было? Кто грабил этот чёртов банк: я или тот монстр, сотканный из сотен поколений, который иногда берёт движение моего тела в свои руки? Впрочем, ерунда всё это. Ерунда. Никакой Гипнотизёр, никакое подсознание не способно перейти некую грань, ну не в силах, например, довести до самоубийства...

Ты в этом уверен? А всех ли самоубийц ты опросил, отчего они стали играть в эти игры? Да и при чём тут самоубийцы? Надо думать, как выползти из этой ямы! Как там сказано-то: и умные, и дураки способны ошибаться, но умные умеют исправлять свои ошибки. И только мудрые не делают ошибок. А если и делают, то лишь возмущаются ей и извлекают из неё немалую пользу. Жизнь прекрасна и в боли и в радости. На то и Земля. Контрасты как раз и осуществляют жизнь. Короче так: дурак, вляпавшись в дерьмо, так и будет сидеть в нём, да ещё и в рот потащит, умный — разумеется, побежит отмываться, а мудрый сочинит стихи, или притчу о бренности жизни или наберёт из дерьма опарышей да отправится на рыбалку... О Господи, какие опарыши!? Какие стихи?! Нет, похоже я ещё до мудрости не дорос, мне бы в рот потащить да на вкус попробовать, я даже и отмываться-то не умею.

Но вот и долгожданная остановка... Хотя бы в пространстве определимся. Ни черта не видно. А впрочем, впрочем, кое-что видно. Кое-что даже очень хорошо видно.

Жёлтый мерседес здесь как-то и неуместен. Как-то не положено ездить по степотундрам на жёлтом мерседесе. Ну, был бы он хотя бы чёрный, это ещё куда ни шло... И эти мальчишки, садящиеся в поезд... Такой мальчик череп ладошками обнимет и посыпятся, посыпятся черепочки...

— Вот что. Вот что я вам скажу, дорогие мои. Похоже, приехал я. Ты уж меня, Оксаночка, извини, втравил я тебя в эту историю... Знаешь что? Ты дальше с Дверкиным поезжай. А я тебя потом. Я тебя потом обязательно найду... Ты «Мурзилку» выписываешь? Я в «Мурзилке» объявление дам: так, мол, и так, Оксана Маечкина, позвони туда-то, туда-то Олегу Эсинскому, понятно? Ну не плачь, не плачь, не нужно плакать, дядя Дверкин хороший. Видишь, уснул. Плохой человек в чужом купе ни в жисть не уснёт. Пусть поспит, хорошо? А проснётся, ты ему скажи, когда проснётся, я, мол, дядя Дверкин, с тобой поеду. И ему веселее, а то ведь, сама слышала, умирать собрался. Посмотрю, говорит, океан и умру. Ты уж за ним присмотри, ладно? Он ведь, Оксаночка, пропадёт без тебя.

— А ты?

— Я? Я, Оксаночка, авось и не пропаду. Я вот сейчас дверь закрою. Я её на секретку закрою. И... и в окошко уйду. Я, Оксаночка, очень хорошо умею в окошко уходить. Я как увижу окошко, так меня пивом не пой, дай только в окошко вылезти. А в дверь мне, Оксаночка... Это не ревизоры. Они, Оксаночка, врут. Это плохие дяди, они, Оксаночка, за мной пришли. А я, понимаешь, не хочу с ними.

И под стук выламываемой двери, цепляясь за какие-то призрачные выступы, больше всего боясь почему-то тока, он выполз на крышу. Медленно, метр за метром, сквозь искусственный ураган, к тамбуру.

Там пониже. Можно будет и прыгнуть. Насыпь песчаная. Можно и прыгнуть... Уж если жанр такой. Раз уж он грабитель, то можно и прыгнуть. Раз он умеет лазить по водосточным трубам, то уж и с поезда как-нибудь. Раз уж так кувырком всё, то надо прыгать...

Его тряхнуло. Развернуло воздушным потоком. И он грохнулся в мягкий песок, прокатился по нему и затих в низких замызганных кустах.

Нельзя с похмелья так прыгать. Вредно это. С похмелья, например, пиво надо пить. Есть яишницу с помидором. Музыку слушать: Баха там или Чайковского, только не Шнитке. Шнитке с похмелья никак нельзя. Шнитке с похмелья — это всё равно что с поезда вниз головой. Это можно считать, что сейчас он как раз Шнитке и слушает. Концерт для фортепьяно с оркестром. И вовсе это не бревно упирается в левый бок, *это allegro con brio впилося своим жалом под сердце.*

Собственно, он редко страдал в похмельи. Ему даже нравилась эта ватная отупелость мозга, тонкие, едва заметные движения души, своеобразное истязание плоти... Плоть отывалась редко... Ей, видимо, по большому счёту было плевать на это.

Другое дело тоска. Иногда на него накатывала исчерна-фиолетовая тоска, и тогда было плохо. Однажды он четыре дня блевал от тоски. Просыпался по утрам и блевал.

Блевал по часу, иногда и больше. Блевал от отравления души. И даже вино не приносило очищения.

Но довольно, он устал от этой музыки, напрягающей сердце. Ему не хочется двигаться в темпе *allegro*. Позвольте, господа, жить неторопливо. Позвольте ощутить неуловимый вкус исчезающих мгновений, скрип вечности на пересохших губах, запах креозота, гул поезда... Я не беглец, но странник. Путешественник по собственной душе.

И этот товарный, удивительно медленно идущий поезд, не для него ли? Что же, он будет хорошим товаром. Товаром, способным к самопогрузке. Он догонит этот пахнущий лесом вагон, упадёт на груды сосновых стружек и...